

Антон Юртовой

Подкова на счастье

18+

АНТОН Юртовой

Подкова на счастье

«Автор»

2018

Юртовой А.

Подкова на счастье / А. Юртовой — «Автор», 2018

ISBN 978-5-532-09807-7

Настоящим изборником известный литератор и публицист Антон Юртовой делает очередной серьёзный шаг в развитии своего творчества. Как опытный эссеист, он на этот раз использует жанр эссе не в его короткой форме, а развёрнуто и широко, укладывая в нём весьма значимое по содержанию полотно. Читателей могут привлечь и другие помещённые здесь произведения. Наряду с новыми текстами приводятся и публиковавшиеся ранее. Автор родился 21.01.1936 г. в Малороссии. Живёт в Саранске. Эта его книга — пятая.

ISBN 978-5-532-09807-7

© Юртовой А., 2018

© Автор, 2018

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Проза лихолетий | 5 |
| Подкова на счастье | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Проза лихолетий

Подкова на счастье

Повесть-эссе

Подмечалось уже многими, какую волшебную силу и чёткость приобретают всегда детские впечатления по прошествии времени.

В самом начале они могли быть какими угодно: неустоявшимися, неровными, неотглаженными, – они западали в память по глубокой рассеянности или мимолётно, не увязывались ни с чем, наплывали то ли в дрёме, то ли во сне, при болезни, в минуты лени, усталости, безволия, грусти, тоски. Этот ряд мог считаться ненужным, неинтересным, лишним, даже мешающим и вредящим. Могли быть и такие, которые следовало бы надолго запомнить, постоянно возвращаться к ним, лелеять их в себе, даже гордиться, что по своей воле отделяешь их от остальных.

А спустя годы оказывается: ни на что и ни по каким признакам огромная целостная их масса не разделилась, не распалась, никуда не просеялась; наша память одинаково бережно удерживает её всю и в каждой отдельной части; в ней теперь легко и как-то по-особенному наглядно выражены мельчайшие детали и штрихи былого – будто с его оригинала когда-то, на всякий случай, память, склонная к саморазрушению, заготовила ещё и точнейший слепок.

Повторяя в себе не только зримое, предметное, но и чувственное, эта копия по-настоящему очаровывает и удивляет пожившего на свете, кто бы он ни был.

За то, что человек жил, старался быть лучше, справедливее и добрее, не скупился отдавать себя обстоятельствам и полезным делам, за то, что особо некогда было ему оглядываться на минувшее, на оставшееся позади, судьба и преподносит ему в дар эту чудную копию. И нет, кажется, более прелестной и более чистой яви нашего бытия, чем та, которая отложилась в виде воспоминаний о нашем подлинном детстве.

Ощущение выроста – самое, пожалуй, скрытое и недостаточно замечаемое для маленького, ещё не зрелого человека – в его жизненном сроке от появления в этом мире до осознания наступающей желанной поры настоящего взросления. Не о том речь, будто бы на это никто не обращает его внимания. Взрослые при любом удобном случае выразят ему некую тёплую похвалу, что он прибавляет в росте как живой представитель нового поколения или – в каких-то способностях. Такие сведения приходят к нему часто даже в избытке – от его родителей и родственников, от многочисленных других людей, во внимании которых он оказывается, будучи в статусе ребёнка. Кое-что узнаётся и от сверстников или детей, в годах ушедших от него вперёд.

Но угадывать значение постоянной и неудержимой перемены в себе, вызываемой действием физиологии, а тем более осознавать её на разных её этапах – к этому сам он и не стремится, и, думается, даже не расположен.

Будто ему незачем тратить на это запас ещё не окрепшего в нём, хотя по-своему уже и устоявшегося духа, и будто ему заранее дано не сомневаться, что копию с самого себя он непременно получит в последующих, уже в виде ярких и приятных сердцу воспоминаниях, фонтанами быющих озарениях личностного.

Тут не исключена ещё и присущая детям строптивая защитительная амбициозность: чего это мне то и дело, как на некий личный недостаток указывают на мой малый возраст, в то время как то, чем я живу, есть мой собственный большой мир, где уже всё достаточно обдуманно,

чётко расставлено по местам, дорого мне, и я никак не хочу, чтобы кто-то вмешивался в него и что-то расставлял там по-своему?..

Много раз, подхваченный искрящимися вихрями сновидений, я устремлялся в надземье, летая или плавая по воздуху, при этом ясно угадывая непостижимую для реальной жизни суть такого передвижения; слышал, что в этом случае я расту, прибавляю в весе или что-то в этом роде; но воспринимать свободное воздухоплавание во сне как прямую причину живительного роста мне самому, кажется, даже в голову не могло приходить. А как это мне нравилось и как увлекало меня!

Я всегда, ещё наяву, ждал таких сновидений и как бы призывал их; и что по-настоящему удивляло и даже трогало, – они наступали!

Там, в другой, покоряемой мною среде, во мне нарождалось и крепло ощущение чего-то уже мной принятого и хорошо усвоенного, и это, как я полагал, было не только то, чего мне определённо хотелось и чем каждый раз я оставался вполне удовлетворён, – я как бы знал и заново убеждался в том, что такое ощущение да и всё, что им охватывается, есть результат не одной моей свободной и как-то легко управляемой воли, укреплявшейся достигнутым, – главным тут было то, что на такую свою свободу у меня есть полное и неотторгаемое право.

Рос ли я в подобные минуты или в отдельные мгновения? Кто бы это мог доказать? И в том ли дело, чтобы утвердиться в этом узком и, видимо, спорном знании? Важным-то было совсем другое.

Я замечал, что путешествия, иногда казавшиеся довольно растянутыми, предназначались для меня как бы и в похожести одно на другое, и одновременно различные. Я здесь говорю, конечно, об их восприятиях, об оставляемых во мне впечатлениях. В чём тут дело, сказать затрудняюсь, но с каждым разом всё отчётливее воспринимались мною некие необычные приёмы управления собой уже не только при подготовке к полётам, но и непосредственно в воздухоплаваниях.

Вот я, разведя руки на стороны и двигая ими наподобие того, как это хотя и с некоторой врождённой осторожностью, но вполне решительно и даже с каким-то достоинством делают крыльями вспархивающие птицы, медленно отделяюсь от земли и почти незаметно для себя взмываю наверх. Очутиться там совершенно небоязно, хотя, разумеется, нельзя забывать о какой-либо непредвиденности; но вот уже эти «зарубки» в памяти сделаны, и мгновенно возникает чувство удовлетворения блаженностью своего состояния: летящему совершенно просто, без труда удаётся выровнять собственное, индивидуальное движение, перевести его в наиболее благоприятный режим или ритм.

С растяжением длительности полётного цикла так и остаёшься в ощущениях собственного всевластия над собой и над тем, что ты предпринял и выполняешь. Ниоткуда не заявляет себя никакая опасность, не бывает и страхов, какими нередко сопровождаются обычные детские сны и которые долго помнятся при пробуждении.

Как таковых причин для серьёзных опасений и боязни нет. В полётах исключены хотя бы мало-мальски мотивированная погоня за кем-нибудь, решение достичь какой-то определённой позиции обозрения, уход от чьего-то преследования, угроза упасть и разбиться, на что-нибудь наткнувшись или за что-нибудь зацепившись; есть лишь восприятие процесса самого движения, которое, как кажется, не имеет собственного ресурса и подчиняется только слабенькому усилию моей воли, будто бы заданной во мне в какой-то очень давний срок, ещё, может быть, до моего рождения, а теперь хорошо установившейся в своей невероятной мощности и расположенности быть управляемой; эта нить целесообразного, укрепляющая перемещение тела во времени и в пространстве, рвётся иногда неожиданно и резко с потерей сна, понятно, вопреки моей жажде продолжения; уже убедившись, что не спишь, ещё долго остаёшься пленником

странного чарующего состояния невесомости, уверенной устремлённости, увлечения и восторга.

Опыт и здесь, как и в условиях яви, очень важен. Без него нет совершенствования, а это значит, что движение по эфиру будет недостаточно интересным. Уже уснув и собираясь устремиться наверх, я, например, увеличивал количество взмахов руками и делал их предельно энергичными, чтобы отрыв от земли проходил резче и вместе с тем пружинистее. Это позволяло сразу оказываться на достаточно большой высоте. Также было весьма любопытным задерживаться в полёте на одном месте, для чего требовалось, расположив руки вдоль тела, словно плавниками или подкрылками, жёстко и без остановок, неощутимо по отношению к собственному телу и к силе земного притяжения, отталкиваться ладонями от воздушного слоя.

Освоившись, позволяешь себе уже и самое сложное, на что раньше не хватало не то что решимости, а просто знания или задачи, – полёт без помощи рук, – лишь раскинув их под небольшим углом по сторонам от туловища, то есть – парение, с полнейшим наличием возможной свободы, когда основным условием успеха становится подлаживание к перемещениям подвижных лёгких и ласковых воздушных струй. Он, этот приём своеобразного высшего пилотажа, как и менее совершенные по сравнению с ним, освоенные прежде, не воспринимается как что-то из ряда вон; ты успел освоить его сам, и, стало быть, он всецело принадлежит и подчинён тебе; а осознаёшь его изумительные и эффектные особенности, уже отойдя ото сна.

Ещё одна важная деталь: ни в предвкушении полёта, ни уже при подъёме на высоту не возникает даже мысли о какой-то безграничности своего перемещения наверх, туда, где кончается атмосфера и начинается необъятный, отвлечённый, пока ещё смутный для моего индивидуального постижения космос. Сознание убаюкивается собственно только великолепием и удачностью выполняемого действия. Также в полётах я совершенно не испытывал намерений устремиться от знакомой панорамы в какую-либо часть горизонта, пересечь некую линию, пределами которой ограничивалась территория моего собственного детского проживания.

Дело состояло здесь, видимо, в том, что «там», в малоизвестных или вовсе неизвестных для меня сферах, мои восприятия не могли ещё ни к чему приложиться или с чем-нибудь соизмериться, а, стало быть, не могло существовать и никакого интереса к тому, что было «наполнением» этих областей пространства.

Как сказано мудрецами и философами, лишённое информации есть ничто, и сознание должно оставаться безразличным к её отсутствию. Будучи ещё ребёнком, я не мог, разумеется, не знать хотя бы чего-либо о тамошнем «наполнении», например, о звёздах, Млечном пути, вселенной, о солнце, луне, планетах. Но воспарить туда, в запредельную дальность мира и бытия не возникало ни желания, ни расчёта.

В целом это могло значить то, что, отделяясь от земли, с её конкретными признаками, я, уже, даже летая над ней, как бы и не был «запрограммирован» на пустые, а тем более на вздорные фантазии. Что бы там нужно было мне делать или искать?

Зато тем лучше видишь проплывающие внизу штрихи и фрагменты знакомого ландшафта в его естественной изменчивости или в застылой временной неподвижности – и тем довольствуешься.

Подчеркну: именно знакомого!

Это был весьма скромный в размерах и красках вид бедственного поселения – с длинными ровными и широкими улицами, уставленными жиденькими цепочками частных, покрытых преимущественно сеном или соломою жилых изб, разделённых пустотами, образованными на месте таких же, но исчезнувших строений, где зияли теперь пышные бурьянные заросли; вид с огородами и неухоженными садами; с недалёкими отсюда полями, оврагами, перелесками, взгорками, ручейками, речками и озерцами, а также – скудной сетью протянувшихся к ним ленточек большей частью труднопроезжих транспортных артерий или пешеходных троп;

с отрогами высоченных и могучих сопок и хорошо видимой издали автомобильной трассой, петляющей по их лесистым склонам, перевалам и в ложбинах между ними, в той стороне, на востоке, куда улицы села обращались одним своим концом, и – с двухпутной железной дорогой и частоколом крестообразных опор магистральной телеграфной связи вдоль неё вблизи от края поселения по другую, противоположную, западную сторону выходящих из него улиц.

Также в поле зрения попадали убогие помещения и площадки колхозной усадьбы; отдельно стоящее на просторной уютной поляне, чёрное от времени, трухлявое деревянное одноэтажное здание начальной школы; единственная, приползавшая из райцентра, собственная для поселения линия деревянных столбов с белыми чашечками изоляторов и парой провисавших на них телефонных проводов, подступавшая к невзрачному малюсенькому домишке на улице неподалёку от усадьбы хозяйства, который ежедневно днём и по вечерам использовался как место, где размещались правление колхоза и сельсовет и только в очень редких случаях, не более раза в месяц – как клуб. Там, в этом правлении-сельсовете-клубе, висел на стене один на всё село и почти никогда не бывший достаточно исправным угрюмо-громоздкий, тяжёлый даже по виду телефонный аппарат с ручкой для «накрутки» вызова.

Могли быть увиденными кое-кто из сельчан, пасущееся коровье стадо, лошади, стоящий у зернового поля и работающий как молотилка, до самого своего верха окутанный полóвной пылью маломощный комбайнишко, медленнодвигающийся куда-нибудь расхлябанный возок на истощённой бычьей тяге, управляемой увесистой палкой и сердитыми покриками погонщика.

За пределами здешнего облога виднелись ещё очертания ближнего, в двух с половиной километрах от окраины села, железнодорожного полустанка, где проживали и содержали свою ремонтную базу путейцы, и в разных сторонах по полотну железной дороги – еле заметные две станции, а дальше, за покрытой лесом возвышенностью и примыкающими к ней луговинами, запущенными полями и обширными болотами простиралась облогом только непроницаемая пустая и грустная даль, скрывавшая напряжённо-пугливую государственную границу у самого берега неприрученной, быстротекущей, богатырской реки, также совершенно невидимой со стороны села...

Ощущение какой-то унылой замкнутости и отстранённости ото всего, что существовало вокруг меня за краями знакомой панорамы, не могло бы, наверное, не травмировать моего неокрепшего сознания, если бы увиденное сверху умещалось в собственное ложе лишь так, как это происходит в действительности – отдельными частями и в разные отрезки времени. И уму и душе в такой обстановке очень не хватает картины её расположенности перед глазами в целостном и обобщённом развороте, в совокупном содержании.

Как раз такой она предстаёт в случае рассматривания её в сновидениях с полётами по эфиру.

В том-то, наверное, и заключается крупнейшее значение иллюзорного воздухоплавания. Картина, увиденная сверху во сне – тот волшебный кристалл существования, при посредстве которого, как мне могло казаться, усовершенствуется развитие мыслей и чувствований, обретаются широта взгляда, умение анализировать и обобщать виденное и познаваемое. Как же можно было бы жить без такого важнейшего пособия!

Окунаясь в воздушную среду, замечаешь, как буквально сразу и насовсем тобой овладевает ровное искреннее воодушевление, чистая и светлая радость от покорения высоты и возвышения над самим собой. То, что окружает тебя в яви и воздействует на тебя или на окружающих, становится неотделимым от целостных впечатлений, полученных, когда ты находился в воздухе. Сюда же входят и мечтания, без которых детская жизнь и пора не представлялись бы полноценными и обаятельными. Бесспорно, что и они возникают и утверждаются, не будучи строго разделены, относятся ли они к действительности или к снам.

Глыба эмоций, получаемых в полётах, увеличивается до таких размеров, что порой уже нет возможности определить, в связи с чем конкретно происходят отдельные превращения, касаемые личного чувственного. По прошествии многих лет я иногда ловил себя на мысли, что я легко и просто покидал землю для воспарений над нею вовсе уже и не в одних снах, а и в состояниях бодрствования и не в одной только заре своей жизни, а и много позже. Такую идиллию не хочется прогонять, и не прогоняешь. Зачем, если она лишний раз распахивает перед тобой очарование былого, такого неповторимого и даже как бы не уходящего?

Она, я утверждаю, есть предмет необходимый и в высшей степени полезный. С нею хорошо вспоминать даже самое будничное и простое.

Не подправленное яркой чувственностью, оно обрекалось бы окостенеть и в таком виде забыться, как не способное воспроизводить самоё себя в хорошо знакомых и волнующих красках.

Лишь в очень редких случаях жизнь бывает такой некомфортной, чтобы в ней кому-то из детворы не приходили сны с воздушными путешествиями. Как следствие, у ребят и отношение к собственному выросту в подавляющем большинстве одинаково неактивное. Чередом идут всяческие события, пополняются знания, чёткими и более глубокими становятся восприимчивость и сосредоточенность на том, что более всего интересно.

Однако ничто уже не может изменить существенного в том, из-за чего детские предпочтения получают тот вид, какой получают.

Открытый детский ум и открытая детская натура, хотя и способны вмещать в себя целые огромные миры живых или призрачных восприятий, но растущему организму всё же вряд ли оправданно перегружаться ещё и тем, что в принципе и так неотделимо от существования быстро гармонизирующей себя личности.

Нельзя не учитывать и разного рода неблагоприятных обстоятельств, когда раньше положенного срока дети вынуждаются сполна и едва ли не на равных разделять участь и лишения со взрослыми, постигая опыт, которым естественное и присущее исключительно детям часто и бесцеремонно принижается или попирается.

В таких условиях у них если и возникают мысли о собственном выросте, то они направлены лишь на одно – на желание поскорее выйти из детства, из его специфичного состояния, чтобы тут же, навсегда с ним расставшись, начать жить по-взрослому.

Теперь об этом говорить будто бы неуместно: на дворе другие времена...

Принимаясь за эти заметки, я, тем не менее, намерен понаходиться в теме, где неблагоприятные обстоятельства преобладали и довели практически над каждым.

Давно это было, но я не считаю, что из-за давности я должен смахивать на сторону то, что может стать как интересным, так и поучительным. Кроме того, просто не бывает так, чтобы даже в труднейших ситуациях ребячье сердце не стремилось, впитывая горести и огорчения, открываться для эмоций чистых и светлых, быстро преобразуясь в искренние радости и даже в не стыдное ни перед кем, всё исцеляющее, безоглядное веселье.

Моменты искренних возвышений над обстоятельствами, а значит и над собой, всегда особенно трогательны; ими будто вторым светилом бывают осветлены дни и целые годы детства; и это сияние снова и снова завораживает и восхищает нас, проживших своё, переливаясь всеми возможными красками в неудержимых потоках воспоминаний, трогая и согревая самые чувствительные струны в душе...

Склонная к постижению мощной силы анализа и обобщительности детская натура всегда ищет возможности развить их. Игры и учёба тут занимают, как считается, главенствующее место, однако в становлении личностного их бывает недостаточно. Нужны впечатления мгновенные и, что называется, сплошные, не связанные только с твоим участием в их получении.

Кроме перемещений по воздуху в снах, их могут преподносить грозы, дожди, выпадение снега, смена сезонной палитры, любое событие или явление природного или естественного свойства. Важно приучаться наблюдать за ними и чтобы этому наблюдению было как можно меньше помех.

Самый простой способ оказаться в таком состоянии и сосредоточиться в нём связан, как я считаю, опять же с небом, с эфиром, когда ты рассматриваешь его, оставаясь на земле. Меньше всего я говорю здесь о небе ночном, которое хотя и наполнено очарованием и привлекает загадочностью, но в принципе перемены там предстают лишь во времени ночи, от вечерней зари до утренней, а сам небосвод, даже будучи яркозвёздным, остаётся для глаз неизменным и статичным. Другое дело небо дневное и не столько само по себе, в его непорочной голубизне и освещённости, а когда оно – в облаках.

Медленно или быстро двигаясь, они в каждое мгновение удивляют смотрящего причудливой мозаикой перемен. Там можно различить силуэты знакомых людей, корабли, мосты, красивейшие и огромные замки, целые города или их отдельные массивы. Даже становясь взрослыми и престарелыми, живущие не отказывают себе в удовольствии лечь навзничь на свежую, зелёную, пахучую траву или на клочок также пахучего свежего сена, чтобы всласть поразглядывать плывущие облака и на них нескончаемые ряды образов, таких, которые повторяют виденное в действительности или усвоены через фантазии или сказки. Меня порядком озадачивало лишь то, что обычно сеансы рассматриваний облаков, равно как и ночного звёздного неба, даже детьми быстро прерывались, и для них в этом занятии как бы уже сразу исчезала потребность, вопреки чему я всегда слышал от многих, как это занятие любимо ими и какое наслаждение оно им каждый раз доставляет. Тут действует, скорее, тот фактор, при котором иллюзорное обречено уступить реальному, когда они сосуществуют рядом и по отношению к реальному, может быть, к какой-то его части, у каждого человека возникают если и не прямые обязательства, то, по крайней мере, некий свой, практический интерес. Что до меня, то я хотя и растягивал сеансы любования дневным или яркозвёздным небом, но только если для этого находилось достаточно времени; когда что-нибудь меня изрядно отвлекало, я не забывался, стараясь придерживаться обычного для многих.

Познание местной жизни в её самых разных проявлениях легко давалось мне даже при том, что об этом предмете я в те годы мало кого расспрашивал и не наводил о нём каких-либо глубоких справок. Я здесь говорю, конечно, не о том, что я был лишён любознательности. Она была, но несколько иной, чем бы должна была быть, и во многом отличалась от той, какую имели мои сверстники. Связано это было с тем, что многое мне удавалось постигать самому, как склонному к анализу и обобщению происходящего и узнаваемого по ходу своего взросления. К тому же мои расспросы людей, мне близких или чужих, часто бывали по-особенному безрезультатными: как малолетка, я натёкался на некое неудовольствие, когда задавал свои вопросы; частью ответы, если я их и получал, оказывались уклончивыми или смятыми; говоря иначе, существовал какой-то барьер, не позволявший строить общение с односельчанами достаточно широко. Со временем я заметил, что отстранение касалось не только меня. Такой «укороченной» в селе складывалась норма повседневной общительности.

Ни от кого и ни в какой обстановке, даже в школе, не доводилось мне слышать что-либо достаточное об истории села, о его прежних, покинувших его или живших при мне обитателях, как общине, о причинах царившего надо всем разорения и упадка. Совместная отстранённость и отсутствие интереса к содержанию собственного бытия, как я мог понимать, происходили из самих реалий, из окружающего. В селе жили обычные люди, какие живут везде. Но конкретные условия жизни заставляли их по-своему воспринимать её особенности. Необсуждаемое оказывалось выделенным из общего ресурса местного общения из-за того, что у села уже при его закладке не было перспективы развития. Хотя под жилой массив и хозяйственные постройки

земли было выделено немало, давала знать нехватка и природная скудость угодий. Под пашню и луга пошли участки, отвоёванные первыми поселенцами на лесных делянках и у болот. Этого хватило ненадолго. Как раз к тому времени подспела столыпинская реформа, число приезжих в селе увеличивалось, заводились новые подворья. Доставка сюда семей упрощалась близостью железной дороги. Но уже в условиях частного землевладения стал очевидным кризис. Люди заторопились покинуть село. В коллективизацию эту процедуру застопорили силовым порядком и даже замахнулись принять новое пополнение жителей. Между тем колхоз, при его создании не имевший ни одного трактора или автомобиля, работать рентабельно не мог. Последствия оказались удручающими. Село опустело до такой степени, что уже не хватало сил, чтобы хозяйствовать на всех имеющихся землях. Многие поля, пастбища и покосы перешли в разряд брошенных.

Нетрудно представить, какими огорчениями отзывались в общине эти перипетии. Те, кто оставался, предпочитали о прошлом не распространяться. Говорить было тяжелее, чем молчать. Такую «стратегию» выбирали ещё и ввиду репрессий, падавших на тех, кто покидал село как раскулаченный или же – вопреки запретам, то есть, попросту говоря, убегал или только намеревался убежать. Их отправляли в тюрьмы и лагеря. В селе не знали таких, кто бы оттуда вернулся. – Об этом не говорили вслух уже только потому, что за сами разговоры, в которых могли присутствовать ноты и выплески протеста и возмущений, можно было получить солидный тюремный срок. В целом создавалась ситуация, схожая с той, которая именуется «тайной села». Это разновидность круговой поруки, выражающей некое внутреннее, общинное право, естественное по существу и, стало быть, неписаное, таящее замкнутость и отстранённость, а также угрозу опять же неписаного, на уровне молвы, осуждения, если бы требования такого права могли игнорироваться, – с подавлением воли или в некоторой степени даже достоинства практически каждого члена общины, не исключая детей.

Обходиться своими выводами в такой ситуации я был вынужден и в связи с чередой происшествий, какие случались со мною в начальный период моего возраста, ввиду чего нормы моей физиологии претерпевали существенные изменения: из неё как бы «изымалась» часть мне положенного. Укажу сразу на те важнейшие обстоятельства, которые влияли на меня, что называется, не лучшим образом, оставляя на мне черты им соответствующие, придававшие моим восприятиям и их осмыслению характер если и не меланхолии, то, по крайней мере, вовсе не лёгкой, постоянно упрятаваемой в себе строптивости, не той, какая проявляется у детей из желания открыто и смело показать себя как можно независимее от неких общих или частных установлений, а – наоборот, в том её виде, какой сродни болезненной, тяжёлой замкнутости, часто не имеющей точно выражаемых объяснений своей причинности и равно угнетающей, неприятной как для её носителей, так и для тех, кому приходится быть с ними рядом и иметь с ними дело.

Одно из таких обстоятельств было связано с голодомором, – он «ухватил» меня сразу при моём рождении, вследствие чего я переболел рахитом и внешне, со своей необратимой тогдашней худобой и хиленьким тельцем, выглядел, видимо, как запаздывающий с развитием и склонный к медлительности. При этом моё душевное состояние не могло отличаться особой бодростью и оптимизмом, и оно, разумеется, не могло не замечаться всеми, кто видел меня не один раз или только однажды и тем более, если знал меня ближе. Как и в отношении других к себе, так и в отношении своих личных чувств и состояния я имел своё понятие, и оно, естественно, во многом не удовлетворяло меня, как побуждавшее меня к малополезной рефлексии, малополезной в том смысле, что ею облекался мой совсем пока крохотный жизненный опыт, – выйти с ним на какие-либо утверждающие начала оказывалось не так просто или даже вовсе невозможным. О чём-то же связанном с амбициями, требующими энергической воли и настойчивости, даже говорить было пока нельзя.

Что при этом я мог значить сам по себе, мне приходилось определять по тому месту, в котором я каждый раз оказывался в играх или в общительности: не говоря уж о взрослых, даже дети считали нужным относиться ко мне с определённой долей жалости и соучастия, уступая мне в моих просьбах или в ситуациях и предоставляя мне возможность быть самостоятельным, если такой моей самостоятельностью не до конца повергалась их неуёмная манера быть нетерпеливыми, непосредственными, непоседливыми, а то и дерзкими, бесшабашными, непослушными, порой даже мстительными, как то вообще присуще детям, где бы они ни жили или находились.

Обо всём этом я, кажется, задумывался и уже, может быть, почти всерьёз при самом начале осознаваемого возраста; для меня было настоящим открытием то, что, будучи в чём-нибудь повинен, я не наказывался так резко и неотвратно, как наказывались другие, а часто не наказывался и совсем. Обходила меня и ребячья месть, и это могло происходить опять по той же причине хорошо замечаемой со стороны как внешней, так и внутренней слабости и болезненности моего организма ввиду того самого голодомора. Это драматичное массовое событие, много позже возведённое в степень политического рассмотрения прошлого общественной жизни, коснулось меня в возрасте до пяти лет, когда местом моего жительства была Малороссия, та её захолустная часть повдоль реки Псёл, одного из наиболее протяжённых левобережных притоков Днепра, людей и природу которой великолепным слогом запечатлел в своих ранних произведениях писатель Гоголь. Воспоминания о той поре удерживаются во мне исключительно как некая сквозная, плавающая иллюзия. Не помнится ничего существенного, что бы я мог пересказать как происходившее фактически, в конкретной обстановке или с участием действительных лиц.

Единственное, о чём я мог бы говорить сейчас, – это об эпизоде со мною, случившемся в саду, под деревом, когда сорвавшаяся сверху большая, уже налившаяся, но ещё недоспелая груша упала своей твёрдой переломленной плодоножкой мне прямоком на голову, так что я взвыл от боли и долго ревел, и все, кто находился поблизости, долго возились со мной, успокаивая меня.

Как и прочие мелкие события моей тогдашней жизни, этот эпизод забылся бы, наверное, навсегда, и он ничего особенного не мог бы для меня значить после, если бы то злосчастное грушевое дерево не росло на хуторе, в названии которого корневым было слово «груша» и он, этот населённый пункт, обозначен как место моего рождения в моём гражданском паспорте.

Применяясь к этому его значению, я и сейчас будто вяве ощущаю себя игриво и смело-неосмотрительно бегающим поблизости от дома по саду, в преддверии осени, когда было достаточно лёгкого дуновения ветерка, чтобы склонный быстрее других сорваться с ветки плод полетел вниз.

Чтение гоголевских строк как бы уже хотя и искусственно возвращает меня в ту прошлую атмосферу пряной хуторской действительности, и мне она представляется теперь не иначе как чрезвычайно волнующей и полной жизни, в изумительном очаровании пахнущего созревающими плодами дневного воздуха, мягкого, свежего, как бы только слегка подвяленного, податливого, пружинистого листовного покрова под моими босыми, но уже привычными к таким прогулкам и, стало быть, неизнеженными ножками, ласкового, тёплого солнечного лучевого света и необъятного голубого небесного купола над бедственным поселением, где, не утерпев, я уже, возможно, успел попробовать самым найденной в саду груши того конкретного сезона или дня, пусть и небольшой, созревшей пока, может быть, лишь какой-то её незначительной частью, каким-то одним боком или даже – с гнильцой, но незабываемой по вкусу и запаху, взвихрившими мой неутолявшийся аппетит, испотрошённый постоянным предыдущим голодом и недоеданием, от которых я мог бы так же обыденно, почти на ходу, в любой момент умереть, как это происходило тогда со многими на нашем хуторе...

Другое обстоятельство, ввиду которого резко во мне обозначилось ограниченное для точного восприятия, утяжелённое и как бы запертое внутри, последовало вскоре, за тысячи километров от Малороссии, в дальневосточной деревеньке, о которой я уже кое-что сказал в начале, куда вынуждены были переселиться мои родители в преддверии Великой отечественной войны по особой правительственной акции, взяв, разумеется, с собою и нас, четверых своих детей, при ещё двух умерших от голода, рассчитывая таким образом обеспечить оставшимся хотя бы какое сносное выживание.

На новом месте это была вторая для нас весенняя вспашка выделенного нам внушительного по площади семейного огорода, для проведения которой местный колхоз отрядил лошадку с плугом, а также своего работника. Помню, что тот человек возрастом лет пятидесяти был сухощав, довольно опрятен и почти весел, легко и мастерски управлялся с порученной работой, и он-то согласился уважить просьбу кого-то из нашей семьи, а на самом деле — мою (с нею я прямо-таки «доставал» родителей), позволить мне поприсутствовать на вспашке, дабы я начинал уже с этого времени кое-что понимать в крестьянском деле.

Я босым бегал рядом с пахарем, стойко перенося покалывания ступней сухими комьями земли и остатками прошлогодней растительности и жадно разглядывая свежие, ещё поблескивавшие накопленной от снегов и первых после зимы дождей влагою, вывороченные земляные отвалы, на поверхности которых, а также и в борозде извивались потревоженные лемехом черви и ползали какие-то насекомые, обитавшие в земле и озадаченные, совершенно неожиданно оказавшись в одной компании под дневным светом.

Разные птицы, среди которых преобладали числом воробьи и сороки, моментально подлетали к только что вывороченному пласту, видимо, уже издали присматривая и наскоро, жадно склёвывая появлявшееся словно из ниоткуда изобильное для них лакомство. Воробьи и сороки были крупнее прочих птах, и это обеспечивало им преимущество в поедании червяков и насекомых; более же мелким приходилось осторожничать и держаться позади и сбоку от них, там, где вспаханный массив оказывался уже основательно обобраным смешанной стаей и где найти добычу становилось гораздо труднее; общей и практически одинаковой по тональности была их скученная шумливость, соединявшая отчаянное сердитое ворчание, не допускавшее стороннего посягательства на облюбованный предмет лакомства, резкие звуки их частого и беспорядочного вспархивания с характерным трепетанием крыльев оперений и — досадливая, беспокойная переключка тех, кто ещё только кружил над пашней и готовился присоединиться к пиршеству.

Отдельным птицам удавалось склёвывать жертвы на отвале, только что появлявшемся из-под лемеха, то есть они проделывали свои манипуляции уже совсем близко к работающему, управлявшемуся с плугом и лошадённой пахарю, временами едва не задевая его крыльями за плечо или за козырёк засаленного, сильно изношенного кепи, что, само собой, было ему хотя и небольшой, но помехой и не могло не вызывать соответствующей его реакции. Пахарь энергично взмахивал одной из рук, державших и направлявших плуг и одновременно вожжу, показывая неодобрение действиями пернатых также и на своём сосредоточенном работою лице, а то и пугал их голосом, вставляя в обращения к расшалившейся птичьей братии резкие и даже матерные слова.

Желая быть солидарным с ним, я наведалься в кусты, выступавшие по краю близкого к грядкам, заброшенного сада, также нашего, семейного, предоставленного колхозом на одной усадьбе вместе с пахотной землёю, сломал там прутик и, вернувшись, довольный, показал его пахарю. Он с ласковою усмешкой кивнул мне, утверждая этим дозволенность моим намерениям, и я принялся помахивать им, стараясь не допустить птах на место, где им следовало быть хотя бы на чуток позже и подальше.

Между тем коняжка, а это была уже довольно остарелая, тощая пегая кобылица, выказывала усталость, пошатываясь и напряжённо, сбивчиво, невпопад переставляя как передние, так

и задние тонкие свои ноги; по крупу и по бокам её, хотя они и не лоснились от пота, поскольку тот сразу высыхал ввиду задувавшего довольно прохладного ветра, можно было заметить, как разгорячен всё её туловище.

Это было следствием напряжённой работы, а более всего – скудной зимней кормёжки. Лошадёнка часто фыркала; на ней повсюду искрами пробегали подрагивания мускулов.

Ранее пахарь уже дважды ненадолго останавливал её, давая ей возможность передохнуть, и подпаивал её водою, припасённую загодя в большом ведре. Сам же он скручивал сигарку на самосаде, который держал в кисете, и закуривал её, делая глубокие торопливые затяжки.

Я жалел скотинку и сочувствовал ей, подходя к ней в перерывах спереди, чтобы погладить ладошкой по короткой, шелковистой на ощупь шерсти на её морде, сначала под присмотром и с разрешения работника, а потом и без его разрешения, с интересом заглядывая в её вдумчивые, тронутые какой-то неубывающе печалью глаза и смело подставляясь под её учащённое, беззлобное дыхание, исходившее из её широко раскрытых и находившихся в постоянном движении, влажных ноздрей.

При моих прикосновениях она, осторожничая, чуть-чуть вздёргивала головой, а из ноздрей выпускала воздух более резко, чем обычно, с характерным трубочным звучанием, после чего слегка покачивала головою и даже позволяла себе наклоняться ею ко мне, и тогда начинала мотаться её нависавшая сверху чёлка, так что я мог дотянуться своей ручонкой и до её края и потрогать её.

Это любопытное поведение животного показывало, что заботу и ласку хотя бы и от маленького человека оно принимает охотно и с благодарностью, ценит такую заботу и готово быть по-настоящему снисходительным к любому к себе прикосновению, что вызывало во мне чувство восхищения, радости и даже гордости, поскольку всё вместе взятое я мог воспринимать как проявление серьёзного ко мне доверия, так необходимого в детском возрасте.

Когда, понукнув на неё и дёрнув вожжой, оратай в очередной раз прервал короткий перерыв и сосредоточился на своём занятии, я обратил внимание на то, что теперь он понукает коняжку всё чаще и повелительнее, хотя до окончания вспашки грядок было уже не так далеко. Он зачем-то торопился. Надеюсь поспособствовать, я вслед за его понуканиями, не забывая о птицах, принялся потрагивать прутиком лошадёнку, тем самым как бы обязывая её быть постарательнее.

Несколько раз я слегка постегал её по боку, и, как мне показалось, у неё в самом деле прибыло прыти. Это подвигло меня на более решительное действие. Я размахнулся и ударил внахлёт, а в какой-то момент пощекотал кончиком прутика где-то возле паха, для чего приблизился к труженице на недопустимо близкое расстояние, ввиду чего налёг и на постромку, и, конечно, тем смутил даже плугаря.

Он успел накричать на меня; лошадёнка же озадаченно вздёгнулась и резко, почти прицельно лягнула меня той задней ногою, к которой я был ближе...

Об остальном, что произошло в тот момент, в моём сознании не осталось ничего. Только на какие-то секунды я пришёл в себя, когда меня уже в наступавших сумерках поднимали от железнодорожной насыпи в вагон остановленного авральным образом на неположенном для остановки прогоне товарного поезда, следовавшего в сторону райцентра.

Кто-то здесь суетился, высказывая советы, как сноровистее поднять меня высоко наверх, в широко открытую дверь вагона, куда не было ступенек, жёстко шевеля обувью щебёнку под ногами. Кричал паровозный гудок, напоминая о задержке, заставляя поторопиться с погрузкой.

Невыносимая тупая боль поверх головы тут же снова опрокинула меня в забытие, куда меня отправила возмездным ударом своего копытца добрейшая лошадёнка. Там я пробыл немеренно долгое время.

Память не сохранила ни одного мгновения не только моего пребывания в больнице, но и по возвращении оттуда домой. Больше того: она упрятала в себе насовсем целое течение времени, какое протатилося до поры, когда, уже находясь долго дома, я, хотя и урывками, начал смутно осознавать свое злосчастное существование и пока не оставлявшее меня тяжёлое недомогание.

Как уж вышло, что при ударе я остался жив и как смогли удержать во мне жизнь лекари из райцентра, имея дело с фактом грубого покалечения моего черепа, – это, будем говорить, что-то из области невозможного, во что мне не верится до сих пор.

С той далёкой поры ношу на своём темени шрам в виде полукружия, частично воспроизводящий след, оставленный при ударе. При случае даю посмотреть на него врачам и знакомым. Домашние и родственники знают о нём даже в подробностях, которые я здесь привожу. Позволяю себе обратить внимание на оставленный след в том несколько занимательном и вроде как ироничном смысле, что сделанная на мне отметина – неспроста. Она как бы мне в охранение и в подмогу, своеобразная подкова на счастье. Не хочу отказываться от такого обозначения, тем более, если связывать счастье не с чем-то заоблачным и закрывающим все наши проблемы, а – более нам близком, осязаемом, что ли, наподобие того, что приходит к нам по простому везению или при совпадении с нашими, даже совершенно иногда скромными ожиданиями и надеждами...

Я склонен довольствоваться этой второй частью смысла указанного обозначения, поскольку в его пределах, как я убеждался, не исключались моменты или факторы, которые на отдельных этапах моей жизни были для меня в самом деле благоприятными или даже благотворными.

Здесь я говорю о довольствовании хотя и малым, не сулящим больших успехов, но таким, когда и небольшие удача или успех приводят к определённой остойчивости собственного положения и созвучны образу жизни на началах личностного достоинства и полнейшей искренности, – без претензий на какое-то возвышение, в том числе – над кем-либо, когда пришлось бы иметь дело не только с укорами окружающих, но и со своей притаившейся, постоянно ожидающей промахов совестью...

В своих дальнейших откровениях я предполагаю назвать отдельные, наиболее важные для меня случаи, когда я мог соизмерять приходящее ко мне пусть и не с идеальным счастьем, но, по крайней мере, оно служило мне хотя бы временной более-менее твёрдой опорой в чём-то существенном, как бы само собою смыкаясь позже с тем, что его дополняло и опять же становилось мне к удовлетворению и к пользе...

То было такое время, когда потеря кого-либо в семье воспринималась хотя и в горести, с тяжёлыми, надры́вными стенаниями, но тем не менее и стойчески, выдержанно, как явление, часто повторяемое, обычное для всех. Семьи были, как правило, многодетными, чему способствовали преследования по закону за прерывание беременности и избавление от плода, а также – полнейшее отсутствие контрацептивов.

Детская медицина, как, впрочем, и «взрослая», только ещё поднималась и то лишь на городском уровне и в райцентрах. В сёла она приходила с опозданием; в моём селе она появилась, когда мне было лет одиннадцать, и собой она представляла всего лишь скромный фельдшерский пункт в одной, ранее долго пустовавшей жилой избе, занимая там крошечную комнату, где заведующей и одновременно работницей была единственная молоденькая медсестра, только что из училища, без врача.

При постоянной нужде в полноценной пище, скученности в тесных маленьких избах болезни могли оборачиваться для детей как угодно плохо. Многие умирали. То есть – выжили более крепкие. Уродцы вообще не имели шанса на выживание, и только некая удача ввиду

особенности организма позволяла иным из них оставаться в жизни, сполна испытывая в ней все горести, достававшиеся на их долю.

Здесь я мог бы сказать также и о том, что детвора в то время, несмотря на существенные потери в её рядах, была и по-особенному прочна здоровьем; – обычным считалось переносить или преодолевать болезни, оставаясь вне услуг медицины. Ребятню могли поражать глисты, заводившиеся в кишечнике, корь, дистрофия, желтуха, лишай, туберкулёз, но противодействия им никто не искал и не знал.

Что же до такой напасти как простуда, – по её поводу в общине как-то не было принято даже огорчаться, выражать какие-то опасения; ей попросту не придавалось какой-либо значимости. Шмыгает малец носом, ну и что же, пускай шмыгает; никто не поторопится подать ему платок или какой-то клочок ткани, чтобы утереть накопленное: управляйся, как хочешь, сам. Мол, подрастёшь – «исправишься».

Точно таким же было отношение к поранкам и ушибам. Чаще всего они появлялись на ногах, поскольку с момента, когда весной дотаивал снег, и до нового снега осенью

обувки никто из ребят не носил, её не было и в продаже, а напасть её в домашних условиях тоже было проблематично, и, например, прокол ступни каким-нибудь ржавым гвоздём в крайнем случае перевяжут, предварительно смазав слюною самого пострадавшего или приложив к больному месту измятый до состояния сырой кашицы лист подорожника или – промазав его соком сорванного поблизости чистотела.

О таких же заболеваниях как аллергия никто и не знал. В наши теперешние дни ей особенно подвержены горожане, не привыкшие к частым выездам на природу.

Сельский житель ощущает воздействие природы с её пылью и разнообразными запахами уже непосредственно в своём жилище, с появлением на свет приобретая соответствующий иммунитет. Также практически не было ничего слышно о таком повальном явлении как грипп. Никаких постельных режимов не предусматривалось, так что у болеющих ребят оставалась возможность быть как все сверстники, как бы ничем и не отличаться в своей среде. Вмешательство медицины сводилось лишь к тому, чтобы предотвратить эпидемии грозных заболеваний вроде холеры или оспы. Прививка от них была единственной услугой со стороны сельского фельдшерского пункта, а до его открытия её оказывали местному населению приезжие лекари.

Увечье при вспахивании огорода приводило меня в состояние крайнего изнеможения, когда мало что воспринимаешь из окружающего внешнего, а больше сосредоточен на внутреннем, да и то если бодрствуешь, а не находишься в забытье, которое длилось иногда целыми часами.

При таком тяжёлом состоянии важное значение имеет свойство избирательности в чувственном и в сознании, когда они как бы угождают тебе, оттесняя второстепенное и укрепляясь в том, что для тебя важнее.

Соответственно этому приходит понимание своего поведения в пределах тех наставлений, какие уже усвоены и должны выражаться в виде обязанности и долга. Надо быть послушным, не делать ничего такого, что может вызывать нареkanie от кого-либо. Вести себя непритворно, не капризничать.

Я замечал, что мне не составляет труда подчиняться этим требованиям и что в этом я преуспеваю, может быть, значительно больше здоровых детей. Те имеют корыстные побуждения к своеволию, ту важную особенность их строптивости и отчётливого возрастного неприятия даже некоторых добрых наставлений, когда и в своём ребячьем кругу они не расстаются со своей заносчивостью и готовы в любой момент заклеить позором сверстника, если он не придерживается их восприятий вынужденной подчинённости, понимаемой на свой катего-

ричный лад или как безволие, или, хуже того, как желание определённой выгоды для себя, – собственно, того же, чем бывают одержимы сами.

Отклонения во мне не могли не замечаться взрослыми, прежде всего моими родителями, постоянно, как и в других семьях, озабоченными детским непослушанием. Они могли надеяться, что я в отличие от других детей, своих или чужих, склонен быть покладистее и, как имеющий своё понимание обязательства, не отрину даваемых мне наставлений.

Представился случай, довольно мрачный по общим понятиям, когда однажды, в летнюю пору, в избе я оставался один, а мать, уходя последней, перевязала меня в

поясе бечёвкой и сзади прикрепила бечёвку к гвоздю в сенях, высоко на стене, так что я дотянуться туда не мог и при открытой двери в избу размещался почти у самого порога перед крыльцом, выйти же не мог даже на него. Оставалось только единственное – сидеть на полу.

Мне было сказано, что это ненадолго, кто-то из своих должен скоро быть и отвяжет меня, а пока мне надлежит находиться в таком положении и не пытаться освободиться: там, во дворе, который начинался от крыльца и куда с улицы вход прикрывался лишь шаткою калиткой, вполне вероятно, могут оказаться чужая свинья, чужие собаки, бодливый бычок, – с ними встречи небезопасны.

На вопрос матери, понятно ли мне правило моего поведения в одиночестве, я сказал, что да, понятно, и с тем она ушла, правда тут же накоротке вернулась, зазвав ко мне нашего пёсика; он ко мне всегда оживлённо ластился и при свидании норовил непременно облизать мне лицо, давая тут же себя сколько угодно гладить. Пёсику это нравилось; он долго не уходил, что было по душе и мне.

Наше с ним общение было на этот раз неожиданно скоро прервано. Мой дружок резко вспрыгнул и сиганул с крыльца; в стороне от него, за пределами моей видимости, послышался злобный его лай, адресованный непрошенному бродячему гостю, а тот, в свою очередь, также громко и злобно лаял и шумно щерился. Последовала обоюдная их сцепка-грызня, с тяжёлым, спёртым обоюдным дыханием, взвизгиваниями и скулежом, и только изрядно искусав друг друга, они наконец расстались, продолжая ещё долго тявкать вдалеке один от другого, что как и в начале обозначало несовпадение их интересов, одного – как хозяина двора, а другого – как якобы также не лишённого права забредать сюда когда ему вздумается.

Моего пёсика теперь общение со мной не прельщало. Он, как я мог догадываться, выбрав себе место у невидимой мне стены избы, поудобнее, принялся зализывать кровоточащие поранки и приводить в порядок взбившиеся в драке пучки своей шерсти. На мой зов он не откликался.

Не было видно и нашего кота, любившего погреться на солнышке у самого порога; с ним у меня также была теснейшая дружба, но встречаться мы с ним предпочитали на печи, особенно в холодной время года, когда она отапливалась получше и мы, улёгшись там, оба блаженствовали, – я – изобильно его поглаживая, а он – одаривая меня своим мягким теплом и не переставая мурлыкать, пока эта идиллия не уводила нас в сон, во всё время которого мы так и продолжали оставаться вместе, до моего пробуждения.

Было бы кстати пообщаться с ним теперь, но он где-то шастал по своим делам, так что мне пришлось коротать свою, утомлявшую меня привязь одному.

Сидя на полу в сенях, я на какое-то время забылся, и это могло занять по меньшей мере около двух часов; никто так и не приходил, и единственное, чем я мог утешиться, так это размышлением над самим собой, тем, что, как я знал, более всего мне удавалось именно в то время, когда я выходил из состояния забытья и, ничего о нём, этом состоянии, не помня, возвращался к осознанию своей чувственности.

Да, говорил я себе, ущемляя мою свободу, со мною обходятся плохо, несправедливо. Но, с другой стороны, так же следовало бы мне укорачивать её, будь я не привязан. За чем-нибудь спускаться с крыльца – была ли в том большая необходимость, если на дворе, действительно

могли появиться опасные для меня свин или бычок с уже выступавшими у него на лбу рожками, а мой любезный пёсик вряд ли бы смог защитить меня, если бы те вознамерились надвинуться на меня? Там же бегают куры и при них задорный и подозрительный в амбициях, орущий о своей власти великан-петушина.

Не вздумает ли он, видя себя охранителем курочек, клюнуть меня, что, я знаю, – очень больно...

В сторону матери также находились нужные и вроде как безупречные соображения. Ну, немного обидно за своё такое вот заключение. Но у неё, рядовой колхозной работницы, верно, всё складывалось таким образом, что по-другому она поступить со мной просто не могла. Я не должен её подвести, дав ей обещание. Не должен и обижаться. Много раз она позволяла мне выбираться из избы во двор или даже на улицу под присмотром, своим или кого-то, кого просила об этом.

Разве для меня будет что-нибудь потеряно ввиду привязи, раз она необходима?

Совсем будто бы неопасно заглянуть в заброшенный сад или на грядки, подступавшие прямо к дому, где уже в два человеческих роста, на конском перегное, вынесло вверх стебли кукурузы с мощными початками на них и полно другой растительности; но ведь все в семье знают, что одному мне прогуливаться пока противопоказано, где бы то ни было, – вдруг случится со мной обморок, потеря памяти, я упаду, что тогда со мной может быть? Где искать меня? И не обернётся ли моё отсутствие ещё большим недопомоганием? Нет, мать я упрекать ни в чём не имел права...

В таком твёрдом убеждении я и находился, не предпринимая попыток освободиться, терпеливо дожидаясь, когда меня выручат.

То есть это было не что иное, как осознанное восприятие ограничения своей свободы при достаточно логичном обосновании такой меры, и я, не впадая в пафос, склонен теперь ценить в себе то, что я вплотную подходил к пониманию сути своего права на личную мою свободу уже в то время, будучи ещё ребёнком.

В нашей семье не было принято сюсюкать над малолетками или каким-то образом обсуждать что-то с ними связанное, а тем более выражать жалость, по крайней мере, вслух. Жизнь была тяжела. Всем находились дела, и они никогда не кончались. Приведённым примером я хотел показать те условия, в виду которых было допустимо и привычно предоставлять меня самому себе. То есть – одиночество не было для меня чем-то исключительным и возбуждавшим страдание.

В болезненном состоянии я находился большую часть своего времени, располагаясь на печи или на жёстком топчане возле неё, в обоих случаях имея под собой для укрытия только некие до предела изношенные вещи постельного назначения, часто в изнеможении или в жару, засыпая или теряя сознание и лишь изредка возвращаясь в состояние бодрствования. Тем самым отлучки из избы вообще оказывались для меня редкостью. поскольку из опасений, что я мог затеряться и не найтись, меня выводили погулять почти всегда держа за руку, и считалось за лучшее, чтобы такое удержание не прерывалось.

Обратить на это внимание я хотел бы по той причине, что удерживать детей за руку, даже совсем маленьких в нашем селе также не было принято. На улице или где-то, куда взрослые могли придти с ребятей или с одним отпрыском, этакой позы увидеть оказывалось невозможным.

То было следствием прежде всего отсутствия видимой угрозы для детворы, когда по улице могла протарахтеть запряженная лошадью или волами редкая телега, а других средств передвижения, как, скажем, велосипеда или мотоцикла, так их пока ни у кого и не было.

Также редкостью была автомашина, появлявшаяся только в сезон уборки урожая – как нанятая колхозом. Она приезжала к амбарам или складу хозяйства и нагружалась в полторы

тонны, сколько могла увезти, за что получила название полуторки, и это был единственный вид автомобиля, который мои сверстники односельчане да и все жители местной общины могли воспринимать как приметку грядущих у себя перемен.

Нельзя было считать опасным и домашний скот, пасти который доверялось большей частью мальчишкам, начиная с шести-семи летнего возраста, так что им в особенности, а также и девочкам, уже с самых ранних лет привлекавшимся к разным хозяйственным делам в семьях, как бы полагалось такое с ними обхождение, когда держание за руку старшими воспринималось ими со смущением или даже стыдом.

Как я уже говорил, меня этот обычай касаться в той поре не мог, и я хорошо помню, как уже подросткового, но всё ещё продолжавшего неодолевать, мама на виду у всех вела меня за руку к школе, чтобы записать в неё для поступления в первый класс, и так, удерживая мою руку, не отпуская её, обсуждала с директором условия записи и условия

обучения. К этому добавлялось то, что при нашем прохождении по селу нас видели хотя и немногие, но сам факт, что мальчика ведут за руку, вызывал у видевших не одно любопытство, а в некотором роде и осуждение, на что уже напрямую указывали жесты и возгласы видевших нас деток.

Они, не скрывая осуждения, смеялись и строили рожи, указывая на меня пальцами, так что и мама, в свою очередь, вынуждена была отреагировать на это соответственно, грозя в сторону обидчиков волевым жестом свободной, не занятой своей руки.

Ощувив явное неодобрение моей позы, я уже с высоты нового исторического времени сравниваю, насколько оно, время, ушло вперёд, а вместе с тем и отошло вспять, совершенно изменив прежнее, воспринимавшееся обычным. К пользе ли происходят изменения?

Не говоря уже о воспитанниках детских яслей и детсадов, детей постарше и даже подростков, порой весьма рослых и развитых, сейчас держат каждого за руку, провожая в школу или забирая их оттуда по окончании занятий, переводя через дорогу, посещая с ними учреждения культуры, спортивные сооружения, парки и маркеты, а если считать, что их прямо-таки бесцеремонно и надолго оставляют в частных квартирах, числом редко более одного, да ещё и забирая с собою связку ключей, то уже на этом пространстве нашего бытия нельзя не заметить, как свобода у детей бывает тотально ограничена и приобретает черты призрачности, несмотря на непрерываемую шумную всемирную кампанию по обережению прав маленьких граждан, предоставленных ранее, и – предоставлению им новых обширных прав и свобод...

В тот год, когда по весне так неудачно было прервано моё приобщение к серьёзной работе на пользу нашей большой семье, произошло событие, ставшее знаковым для страны – началась Великая отечественная война. О ней, в том её виде, как она начиналась, я узнавал, уже вернувшись из больницы.

Как ни был я измождён болезнью, но то главное, что вызывалось грозным, почти роковым событием, входило в меня мгновенно и прочно – как только что-то мне становилось о нём известным.

Оно, главное, сводилось к тому, что теперь должен был измениться весь уклад местной общинной жизни. Конечно, далеко не в лучшую сторону в смысле её благополучия. По приезде из Малороссии на новой земле семья к осени собрала для себя более ста мешков картошки, в каждом по пять полновесных вёдер, а также вырастила и заготовила в достатке плодов других культур – помидоров, огурцов, тыквы, капусты.

Это изобилие было получено как, собственно, с огородных наших грядок, так и приличного дополнительного надела на колхозном поле, полагавшегося для переселенцев на первый год их прибытия; размещался он через улицу, как раз напротив нашей избы. Также от колхоза семье полагалась и сразу по приезде была выделена тёлочка – надежда на то, что с её выростом

она должна в оплату забот о себе давать молоко. В свободном углу двора красовался вовремя перевезённый с луга стожок сена – для неё.

Таким образом был создан приличный задел перспективного дворового благополучия и запас пропитания, в том числе для домашней живности. Плюс к этому колхоз успел выдать на родительские трудодни зерна, хоть и совсем мало, но это всё же был хлеб, которого раньше не видывали на семейном столе много лет. Такое относительное благоденствие было теперь обречено сваливаться.

Война, которую поначалу выигрывал противник, потребовала больших жертв, и они приносились уже в первые её сроки. На этом этапе из села на фронт ушёл почти весь мужской состав общины, подлежащий призыву. Такой складывалась практика того сурового момента: людские ресурсы боевых соединений пополнялись в значительной части за счёт деревень, где призывники, не имевшие покровительства в городах и райцентрах, только в очень редких случаях могли рассчитывать на отсрочку или на получение брони. Что поделать, наряду с массовым потоком на фронт добровольцев и возрастанием в среде населения искреннего патриотизма в те тревожные дни и месяцы давало себя знать и явление «обратного» порядка, когда изыскивались разного рода лазейки для уклонений от призыва, вплоть до подкупа должностных лиц, в том числе в комиссариатах, ведавших призывным делом непосредственно.

Данное странное явление из соображений лобовой пропаганды хотя и не названо до сих пор, но, полагаю, совершенно напрасно, поскольку оно в иных случаях едва ли не напрочь выкашивало мужскую рабочую силу в сёлах, что весьма серьёзно отражалось на состоянии аграрного хозяйства, а в целом – и на состоянии тыла. Кому было работать в колхозе? Ведь поставки государству хлеба, мяса и других продуктов от него не уменьшались, а наоборот – были существенно увеличены.

Призыв на войну был ненадолго отсрочен всего нескольким колхозникам – главам семей прибывших на новое место последних переселенцев, в том числе отсрочка коснулась моего отца.

Надо ли говорить, насколько он был занят делами в коллективном хозяйстве. Дома его видели очень редко и накоротке, главным образом перед сном. Нескончаемая его занятость, а также то обстоятельство, что я с трудом «отходил» от перенесённой травмы, накладывали свой отпечаток на восприятие отца, как родного и близкого мне человека. Его черты и характер в моей памяти сохранились размытыми, смутными.

На те работы, которые оставили мужчины, пришли женщины. Трудовой день для всех взрослых устанавливался от зари до зари, без выходных. Но даже эти жёсткие меры не позволяли справляться с возросшей нагрузкой, ввиду чего на колхозные работы были привлечены подростки. В их числе оказались моя пятнадцатилетняя сестра и брат, на год её моложе, самые старшие из нас четверых.

В первую военную зиму сестру определили на курсы трактористок при районной машинно-тракторной станции, и к весне она их окончила. Как раз в колхоз поступил первый трактор, колёсный образец Челябинского завода. На нём сестра вспахивала колхозное поле, к которому примыкали окраины огородов жителей нашей улицы. Не хватало плугаря-сцепщика, и на его место как-то не удавалось найти подходящего по сноровке подростка. Было решено до окончания занятий отозвать из районного центра нашего братца, – он там учился в школе, как старшеклассник, проживая в интернате, поскольку в своём селе в школе обучение велось по программе только четырёх классов. В итоге образовалось нужное хозяйству звено молодых тружеников – представителей нашей семьи.

Могу сказать, что свою скромную символическую лепту в подъём и обработку массивов довелось внести и мне. Новый трактор был капризным до невероятности. Заводился с большим трудом, рукояткой, что требовало немалых усилий. Кроме того, постоянно перегревалась вода в радиаторе или она вытекала из него, подгорали свечи. Мой другой брат, старше меня

всего на два года, должен был снабжать экипаж водой, а также обедом, какой второпях могла приготовить мама. За «снабженцем» несколько раз увязывался и я, и это могли быть визиты не обязательно на близкое расстояние. Ведь помощь экипажу требовалась на любом участке поля, где агрегат мог остановиться, показывая свой норов.

На такую мою отлучку из дома ни с чьей стороны возражений не поступало, что могло говорить об огромной важности выполнявшейся нами миссии. Вслед за вспашкой выполнялось боронование, где также нельзя было обойтись без помощника трактористке.

Как-то, когда трактор остановился, брат, помогая сестре, что-то в нём быстро починив, поднял меня на руки и усадил на сиденье. Я близко увидел педали и другие средства управления, тонкую трубу над капотом, из которой выпархивали прозрачные струйки дыма; агрегат, продолжая работать, весь исходил какой-то спешащей дрожью; от него несло гарью и запахом разогретой смазки; отчётливее, чем со стороны, был слышен стук его клапанов, перемежаемый их клацаньем.

Всё тут было для меня новым и неожиданным. Во мне трепетало чувство увлечения и восторга, так что старшим стоило немалого труда выпростать меня из сиденья. Я, впрочем, не был склонен поддаваться обаянию происходящего целиком.

Стоя у агрегата или наблюдая за его движением издали, я, конечно, не мог обойтись без воспоминаний о своей беде, случившейся предыдущей весной, когда я азартно погонял прутиком тощую лошадедку и распугивал птиц, настойчиво порхавших над пашней и на этот раз.

Как уже далеко отодвинулась в прошлое эта передрыга со мною, и как по прошествии целого года слабость всё ещё держала меня в своих тисках, продолжая отодвигать меня на обочину с места, где я мог бы находиться, если бы скорее выздоровел! Так печально было осознавать это положение своей беспомощности, когда помощь даже такого тщедушного существа, как я, была, можно сказать, крайне необходима.

За счёт использования детского труда происходило укрепление эффективности работы и на других участках хозяйства.

Ребятам нашлись дела по выращиванию и высадке рассады, подготовке и ремонту инвентаря, доставке в поля семенного материала; они пасли коров, лошадей и свиней из общественного поголовья; требовалась подмога взрослым в ручной прополке и окучивании ряда культур, на сенокосе, в сборе созревающих овощей. Само собой, приобщение к такой занятости не сопровождалось оформлением ещё не достигавших трудоспособного возраста как штатных работников. И платы не предусматривалось никакой. Просто имелось в виду, что другого способа справиться с поставленными перед хозяйством задачами не было. Впрочем, хотя и очень редко, оно, в благодарность, позволяло себе подкормить подраставших помощников из общего котла, когда в нём что-то совершенно скромное варилось при массовых выездах на дальние сенокосные луга или при уборке урожая картофеля. По своей значимости такое внимание было бесценным.

Помню, что брали с собой на такие выезды и меня, чтобы там за мной присматривать, и я ухитрялся хотя бы какой малостью принести пользу работающим, а других ребят, отдававших обеда, уже, что называется, и остановить было нельзя; они как одержимые старались допоздна и возвращались с работ вместе со всеми уже чуть ли не затемно.

Здесь замечу, с каким пониманием предпринятые меры воспринимались в ребячьей среде. И подростки и совсем малорослые не хныкали, не жаловались на их использование на общественных работах. То было понимание своей роли в полном соответствии с тяжелейшей обстановкой, которая складывалась на фронтах, то есть по сути оно не отличалось от той суровой необходимой жертвенности, какую избирали для себя взрослые.

Так возникало единство, во многом определявшее стиль местной общинной жизни на период войны. И чем она тянулась дольше, тем это единство проявлялось отчётливее.

Мои личные наблюдения над этой особенностью единения поколений не вполне вписываются в разрекламированное участие детей того времени в неких мероприятиях, подаваемых исключительно как патриотические, кем-то спускаемые «сверху» и тут же принимавшиеся как норма. Всё происходило иначе, будничнее, без высоких слов о долге и любви к родине. А что до выходов детворы на сжатые поля для сбора колосков, то, считаю, эти прогулки в большей части надуманны. В нашем селе я не помню, чтобы они проводились. И особого смысла в них не было.

Комбайнишко в хозяйстве хотя уже и имелся, но к началу войны – ещё без тяги, без трактора; его использовали как обычную молотилку. Жатвой, как процессом на пространстве поля, у нас занимались косарь, часто из одних женщин, и женщины же вязали снопы, складывая их в копны. Они-то знали настоящую цену каждому колоску; оставлять их на стерне было предосудительным и рассматривалось как действие едва ли не уголовное. Что если дети и находили считанное число колосков? Вес таким сборам был ничтожен. Хозяйство предпочитало обходиться без этого вклада. Зато ребята могли принести более ощутимую пользу там, где они были расставлены рядом со взрослыми или вместо них.

Дополнительные рабочие руки хотя и служили существенной подмогой общественному хозяйству, но брались-то они из семей, откуда ушли воевать отцы и братья. В связи с этим возникала их нехватка уже и в семьях, на индивидуальных площадках. Не велось ни одной стройки. Большие огороды частью уже не возделывались.

Как результат, резко уменьшались и размеры домашних продовольственных запасов. При том, что уже в первую военную зиму колхоз хотя и начислял своим работникам трудодни, но выплаты по ним прекратил полностью, а при том, что выплаты могла осуществляться лишь продовольствием, а не деньгами, положение дворов складывалось катастрофическое. Совсем не получая зерна, они вынуждались обходиться только собранным со своих огородов.

Огромных трудностей не могли избежать даже семьи, разводившие свиней и другую мясную живность. За счёт неё выходили из положения в течение нескольких зимних месяцев, когда при отсутствии холодильников мясо и сало не портились, будучи сохраняемы на морозе. Любое потепление могло обернуться бедой. Чтобы до неё не доходило, сельчане устраивали своего рода кооперацию в потреблении мяса.

Те, что забивали особь своего животного первыми, предпочитали иногда едва ли не тремя четвертями туши делиться с соседями. Те в свою очередь поступали так же, возвращая долги. К весне скромный мясной и жировой достаток сам собой исчерпывался. Без него же и при отсутствии хлеба быстро убывали припасы картошки и квашёностей. Уже в апреле наступал настоящий голод.

Собирали случайно оставленные на грядках подгнившие клубни прошлогоднего картофельного урожая; пекли из них лепёшки. Ждали, когда выйдет из земли крапива и лебеда. Опять те же лепёшки, без жировых добавок. Мы, ребята, испытывая непрекращаемые приступы голода, бегали в ближайшие перелески. Там к нашей безмерной радости уже вскоре после стаивания снега поднимались ростки дикого чеснока и сладковатые на вкус растения, называвшиеся нами петушками и курочками. Выручали домашние бурёнки и куры. У первых отёлы начинались незадолго до нового года, продолжаясь до февраля-марта; вторые постепенно давали больше яиц только с прибавлением продолжительности светового дня.

Но как мало сельчане могли брать себе от этого милого поголовья!

Я здесь имею в виду налоги, которыми облагались индивидуальные подворья и были тяжелы неимоверно. Если телёнок от бурёнки рождался «с опозданием», то есть где-то ближе к весне, то это обозначало, что положенный с начала года сбор молочного ресурса уже был накоплен в виде долга перед государством. Его приходилось погашать ускоренным порядком, поскольку могло дойти до изъятия коровы. Долг погашался не молоком и даже не сливками, а

сбитым из сливок маслом, и его следовало сдавать на заготовительный пункт не в своём селе, тут его не было, а – в районный центр.

Не имея своих транспортных средств и лошадей, сельчане были в этом часто предоставлены сами себе: выкручивайся, как хочешь.

Было два основных варианта, как именно: отпрашиваться у колхоза, чтобы съездить в райцентр пригородным поездом, делавшим остановку за два с лишним километра от села, у полустанка, где размещалась база путейцев; или – ждать, когда из колхоза отправится в райцентр одна или несколько подвод – с его продукцией на сдачу; возчики не противились и не только отвозили полагавшееся по просьбам дворовых сдатчиков, но и сдавали принятое заготовителям, возвращаясь домой уже с квитанциями для сдатчиков.

У нас не было ни одного случая, когда бы возчик, принявший под свою ответственность переданное кем-либо добро, злоупотребил доверием, распорядился им по-своему. Суровая мера возмещения за воровство и мошенничество, установленная для военного времени, могла ему дорого обойтись, и ни на какую побрякушку ему рассчитывать не приходилось. Позже, к концу войны и уже после неё сёла объезжали на подводах представители районной заготовительной инстанции.

Хлопот с приготовлением продуктов на сдачу хватало по каждому виду налогов. В семьях как самую дорогую вещь заводили многолитровую стеклянную бутылку, в которую собирали молочные сливки и затем, раскачивая эту посудину повкруг или наклонами, сбивали из сливок масло. Настоящим для меня праздником были первые удои молока от коровы, когда мама ухитрялась и телка им напоить и сварить молозиво. Это киселеподобное блюдо я считал величайшим из благ продовольствия уже только за то, что оно сладило, ведь сахар на столах если и водился, то очень редко и в ничтожной мере.

Казалось чудесным на вкус и молоко, свежее или скисшее, и остаток смеси после сбивания сливок в бутылки. Это богатство скрупулёзно делили на всех, на лишнее никто претендовать не мог. Летом, когда подрастали травы, удои молока становились щедрее. Теперь малолеткам его могло бы доставаться больше, но у хозяек появлялся соблазн часть молока продавать, чтобы иметь хоть какую копейку. Как раз к этой поре на дальние пустовавшие колхозные луга приезжали заготовители сена для шахтных лошадей. Те покупали с большой охотой. Также хотя и не так чтобы часто в село наведывались за свежими продуктами военные из ближайших воинских частей. С яйцами своя любопытная история.

Ко времени, когда курочки начинали нестись, уже накапливался изрядный долг по сдаче яиц. Их также собирали на отвоз в райцентр. Тут как тут некоторые курицы становились наседками, убавляя прибыль. К празднику пасхи хотя яички и выкраивались для внутреннего сельского и дворового потребления, но опять же расход надо было погашать, и как можно быстрее. Благо, к апрелю-маю солнце уже грело и светило хорошо; летом яички детям доставались чаще, но опять же и на этом товаре хозяйки не упускали возможности сторговать денежку. Говоря иначе, на строгом домашнем счету находилось каждое яичко и не только уже готовое – снесённое, а ещё и не вышедшее из куриной утробы. Помнится, как мама, уходя по утрам из дома на колхозные работы, собирала в курятнике под насестом свежие яйца, снесённые к тому времени, и поскольку число их было меньше куриного поголовья, ловила всех несушек по очереди и шупала их пальцем, определяя, сколько ещё яиц должно прибавиться за день. Такой занятой технологией пользовались во всех дворах...

Надо ещё сказать, что налог на яйца устанавливался по числу учтённых несушек. Куры для общего порядка подлежали переписи наряду с другой домашней живностью, и если у кого-то потребности в пище вынуждали часть куриц или подросших цыплят резать на мясо, то в случае появления проверяющего для «нарушителя» мог наступить момент серьёзнейшей ответственности...

Жители всяческими путями обходили проверяющих, тщательно соблюдая уместную здесь «тайну села».

При наступлении факта проверки находились дозорные, и по их знаку неполное поголовье несушек в отдельных дворах восполнялось на «опасное» время за счёт соседских кур.

Чтобы не влипнуть в историю, их осторожно проносили задами и огородами, и, конечно, не обходилось при этом без того, чтобы петухи, вернейшие стражи своей паствы, не поднимали излишнего переполоха по случаю отъёма отдельных особей в одних дворах и их появления в других.

Само собой, это служило сигналом к повышению бдительности и для проверяющих. Но такова уж была особенность общей создаваемой тайны, что придерживаться её обязаны были даже они. Их, как правило, подбирали председатель сельсовета, органа местной власти, или за дело брался он сам, то есть это были жители своего же села...

Налоговые обязательства существовали и в отношении забиваемых свиней. Их шкуры надо было осторожнейшим образом отделить от мясной плоти, не допуская порезей. Это было сырьё стратегического значения. Кожа шла на пошив сапог, сумок, ремней и других важных воинских принадлежностей. К знакомой издавна технологии разделки свиных туш, когда их обжигали соломой и сало отделялось с аппетитной умягчённой жаром кожицей, деревенский люд возвращался только в послевоенные годы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.